

«Нет на земле ни одного человека, способного сказать, кто он. Никто не знает, зачем он явился в этот мир, что означают его поступки, его чувства и мысли и каково его истинное имя, его непреходящее Имя в списке Света...»

*Леон Блуа
Душа Наполеона*

ЧАСТЬ I

Глава первая

1

Перед отъездом он все же решил позвонить тетке. Он вообще всегда первым шел на примирение. Главным тут было не заискивать, не сюсюкать, а держаться, словно бы и ссоры нет — так, чепуха, легкая размовка.

— Ну, что, — спросил он, — что тебе привезти — *кастануэлас*?¹

— Иди к черту! — отчеканила она. Но в голосе слышалось некоторое удовлетворение, что — позвонил, позвонил все-таки, не умчался там крылышками трещать.

— Тогда веер, а, Жука? — сказал он, улыбаясь в трубку и представляя ее патрицианское горбоносое лицо в ореоле подсиненной дымки. — Прилепим тебе мушку на щечку, и выйдешь ты на балкон своей бога-

¹ *К а с т а н у э л а с* (исп.) — кастаньеты.

дельни обмахиваться, как маха какая-нибудь, ядрён-корень.

— Мне ничего от тебя не надо! — сказала она строптиво.

— Вона как. — Сам он был кроток, как голубь. — Ну ла-адно... Тогда привезу тебе испанскую метлу.

— Что еще за испанскую? — буркнула она. И попалась.

— А на какой еще ваша сестра там летает? — воскликнул он, ликуя, как в детстве, когда одурачишь простофилю и скачешь вокруг с воплем: «об-ма-ну-ли ду-ра-ка на че-ты-ре ку-ла-ка!».

Она швырнула трубку, но это было уже не ссорой, а так, грозой в начале мая, и уезжать можно было с легким сердцем, тем более что за день до размолвки он съездил на рынок и забил теткин холодильник до отказа.

* * *

Оставалось только *закрыть* еще одно дело, *сюжет* которого он выстраивал и разрабатывал (виньетки деталей, арабески подробностей) — вот уже три года.

И завтра, наконец, на утренней зорьке, на фоне бирюзовых декораций, из пены морской (*лечебно-курортной*, отметим, пены), родится *новая Венера* за личной его подписью: последний взмах дирижера, патетический аккорд в финале симфонии.

Не торопясь, он уложил любимый мягкий чемодан из оливковой кожи, небольшой, но приемистый, как солдатская котомка: его утрамбуешь до отказа, *по самое*, как говорил дядя Сёма, *не могу*, — глядь, а второй туфель все же влез.

Готовясь к поездке, он всегда тщательно продумывал свой прикид. Помедлил над рубашками, заменил

кремовую на синюю, вытащил к ней из связки галстуков в шкафу темно-голубой, шелковый... Да: и запонки, а как же. Те, что подарила Ирина. И те, другие, что подарила Марго, — обязательно: она приметливая.

Ну, вот. Теперь *эксперт* одет достойно на все пять дней *испанского проекта*.

Почему-то слово «эксперт», про себя произнесенное, рассмешило его настолько, что он захохотал, даже повалился ничком на тахту, рядом с открытым чемоданом, и минуты две смеялся громко, с удовольствием, — он всегда заразительней всего хохотал наедине с собой.

Продолжая смеяться, перекатился к краю тахты, свесился, вытянул нижний ящик платяного шкафа и, порывшись среди мятых трусов и носков, вытащил пистолет.

Это был удобный, простой конструкции «глок» системы Кольта, с автоматической блокировкой ударника, с несильным плавным откатом. К тому же при помощи шпильки или гвоздя его можно было разобрать в одну минуту.

Будем надеяться, дружище, что завтра ты проспишь в чемодане всю важную встречу.

Поздним вечером он выехал из Иерусалима в сторону Мертвого моря.

Не любил съезжать по этим петлям в темноте, но недавно дорогу расширили, частью осветили, и верблюжьи горбы холмов, что прежде сдавливали тебя с обеих сторон, проталкивая в воронку пустыни, словно бы нехотя расступились...

Но за перекрестком, где после заправочной станции дорога поворачивает и идет вдоль моря, освеще-

ние кончилось, и набухшая солью гибельная тьма — та, что лишь у моря бывает, *у этого* моря, — навалилась вновь, шибая в лицо внезапными фарами встречных машин. Справа угрюмо громоздились черные скалы Кумрана, слева угадывалась черная, с внезапным асфальтовым проблеском соляная гладь, за которой далекими огоньками слезился иорданский берег...

Минут через сорок из тьмы внизу взмыло и рассыпалось праздничное созвездие огней: Эйн Бокек, со своими отелями, клиниками, ресторанами и магазинчиками, — приют богатого туриста, в том числе и убогого чухонца. А дальше по берегу, на некотором расстоянии от курортного поселка, одиноко и величаво раскинул в ночи свои белые, ярко освещенные палубы, гигантский отель «Нирвана» — в пятьсот тринадцатом номере которого Ирина, скорее всего, уже спала.

Из всех его женщин она была единственной, кто, как и он, дай ей волю, укладывалась бы с петухами и с ними же вставала. Что оказалось неудобно: он не любил делить с кем бы то ни было свои рассветные часы, берег запас пружинистой утренней силы, когда впереди огромный день, и глаза остры и свежи, и кончики пальцев чутки, как у пианиста, и башка отлично варит, и все удается в курящемся дымке над первой чашкой кофе.

Ради этих драгоценных рассветных часов он частенько уезжал от Ирины поздней ночью.

Въехав на стоянку отеля, припарковался, достал из багажника чемодан и, не торопясь, продлевая последние минуты одиночества, направился к огромным карусельным лопастям главного входа.

— Спишь?! — шутливо гаркнул охраннику-эфиопу. — А я бомбу принес.

Тот встрепенулся, зыркнул белками глаз и недоверчиво растянул в темноте белую гармонику улыбки:
— Дала-а-дно...

Они знали друг друга в лицо. В этом отеле, многолюдном и бестолковом, как город, стоящем в стороне от курортного поселка, он любил назначать деловые встречи, последние, итоговые: тот самый завершающий аккорд симфонии, к которому *интересанту* надо еще пилить по неслабой дороге, меж нависших над морем скалистых зубов, затянутых скрепами и сеткой исполинского дантиста.

И правильно: как говорил дядя Сёма — *не потопашь — не полопашь*. (Впрочем, сам дядя *топнуть* своим ортопедическим ботинком ни за что бы не смог.)

Вот он, пятьсот тринадцатый номер. Бесшумное краткое соитие замочной прорези с электронным ключом, добытым у осовелой дежурной: *понимаете, не хочу будить жену, бедная страдает мигренями и рано укладывается...*

Никакой жены у него сроду не было.

Никакими мигренями она не страдала.

И разбудить ее он собирался немедленно.

Ирина спала, как обычно — завернутая в кокон одеяла, как белый сыр в друзскую питу.

Вечно упакуется, зароется, да еще под бока подоткнет, — хоть археологов нанимай.

Бросив на пол чемодан и куртку, он на ходу стянул свитер, скovyрнул — нога об ногу — кроссовки и рухнул рядом с ней на кровать, еще в джинсах — замок застрял на бугристом изломе молнии — и майке.

Ирина проснулась, и они завозились одновременно.

но, пытаюсь высвободиться из одеяла, из одежды, мыча друг другу в лицо:

— ...ты обещал, бессовестный, обещал...

— ...и сдержу обещание, человек ты в футляре!

— ...ну, что ты, как дикий, набросился! погоди...

постой минутку...

— ...уже стою, ты не чувствуешь?

— ...фу наглец... ну дай же мне хотя бы...

— ...кто ж тебе не дает... вот, пожалуйста, и вот... и

вот... и... во-о-о-о-о...

...В открытой двери балкона солидарная с ним в ритме лимонная луна то взмывала над перилами со своим лупоглазым бесстыдным «Браво!», то опускалась вниз, сначала медленно и плавно, затем все быстрее, быстрее — словно увлекшись этими, новыми для нее, качелями, — то увеличивая, то сокращая размах взлета и падения. Но вот замерла на головокружительной высоте, балансируя, будто в последний раз озирая небесную округу... и вдруг сорвалась и помчалась, ускоряя и ускоряя темп, едва ли не задыхаясь в этой гонке, пока не застонала, не забилась, не вздрогнула освобожденно, и — не затихла, в изнеможении повиснув где-то на задворках небес...

...Затем Ирина плескалась в душе, то и дело переключая горячую струю на холодную (сейчас заявится в постель — мокрая, как утопленник, и давай, грей ее до собственного посинения), — а он пытался взглядом проследить в окне микроскопические передвижения бледно-одутловатого светила, своего недавнего партнера по свальному греху.

Наконец поднялся и вышел на балкон.

Гигантский отель погружен был в оцепенелый сон

на краю мерцающего соляного озера. Внизу, в окружении пальм, полированной крышкой рояля лежал бассейн, в котором скакала желтая ломкая луна. В трех десятках метров от бассейна тянулся пляж с членистоногими пирамидками собранных на ночь пластиковых лежаков и кресел.

Стылое мерцание соли вдали сообщало неподвижной ночи ледяное безмолвие, нечто новогоднее — вроде ожидания чудес и подарков.

Что ж, за подарками дело не станет.

— Ты с ума сошел: голым — на балкон? — услышался за спиною бодрый голос. — Стыд у тебя есть элементарный? Люди же кругом...

Иногда ее хотелось не то чтобы выключить, но слегка убавить звук.

Он закрыл балконную дверь, задернул штору и зажег настольную лампу.

— Ты поправилась... — задумчиво проговорил он, валясь на кровать и разглядывая Ирину в распахнутом махровом халате. — Мне это нравится. Ты сейчас похожа на Дину Верни.

— Что-о-о?! Что это за баба?

— Натурщица Майоля. Скинь-ка этот идиотский халат, ага... и повернись спиной. Да, те же пропорции. При тонкой спине сильная выразительная линия бедер. И плечо сейчас так плавно восходит к шее... Ай-яй, какая натура! Жаль, что я сто лет карандаш в руки не брал.

Она хмыкнула, плюхнулась в глубокое кресло рядом с кроватью и потянулась к пачке сигарет.

— Ну, давай валяй... Расскажи мне еще что-нибудь про меня.

— Эт пожалуйста! Понимаешь, когда женщина чуток набирает весу, ее грудь становится благостней,

щедрее... улыбчивей. И цвет кожи меняется. Нежный слой подкожного жира дает телу более благородный, перламутровый оттенок. Возникает такая... ммм... прозрачность лессировок, понимаешь?

Он уже не прочь был вздремнуть перед рассветом хотя бы часик-полтора. Но Ирина закурила и была бодрa и напориста. Того гляди, вновь потребует к священной жертве. Главное, чтоб не принялась отношения выяснять.

— И потом, знаешь... — зевнув и поворачиваясь набок, продолжал он, — вот это мерное кольхание бедер, вид сзади и сверху, оно сводит с ума, если еще ладонями...

— Кордовин, гад! — перегнувшись, она швырнула в него пустой сигаретной пачкой. — Ты прямо сирена злокозненная, Кордовин! Казанова какой-то, пошлый соблазнитель!

— Не-а, — бормотнул он, неудержимо засыпая. — Я просто... влюбленный...

Все это было сущей правдой. Он любил женщин. Он действительно любил женщин — их быстрый ум, земную толковость, цепкий глаз на детали; не уставал повторять, что если женщина умна, то она опаснее умного мужчины: ведь обычная проницательность обретает тогда еще и эмоциональную, поистине звериную чуткость, улавливает — поверху, *по тяге* — то, что никакой логикой не одолеешь.

Он дружил с ними, предпочитал с ними вести дела, считал более надежными товарищами и вообще — лучшими людьми. Часто аттестовал себя: «Я очень женский человек». Всегда умел согреть и всегда находил — чем полюбоваться в каждой.

* * *

Проснулся он, как обычно, в пять тридцать. Уже много лет какой-то усердный и неумолимый ангел заводил где-то в вышних казармах побудку, и минута в минуту — какой бы сон ни снился, какая бы усталость ни свалила его два часа назад, — в пять тридцать он обреченно открывал глаза... и, чертыхаясь, плелся в душ.

Но до этого ему сегодня опять *показали жестянку*.

Вроде как он поднимается, с усилием ворочая торсом, — в *этих* снах всё всегда происходит с неотменимой чередой тяготящих движений — садится на постели, с трудом разлепляет глаза... И видит: на гостиничном журнальном столике — *стоит*. Ах ты, мать честная! — стоит та самая, *мятая жестянка*... Нет, говорит он себе (все следует давно вызубренному сценарию проклятого сна), — не жестянка, скотина ты этакая, а субботний серебряный кубок, старинная фамильная вещь, хотя и — да, слегка примятый сбоку; но это ведь потому, что с грузовика упал. И Жука, сирота (война, зима, эвакуация), — не побоялась, сама полезла под колесо, достала! А ты, мерзавец, подонок и прохвост... пошел и сдал в антикварную скупку, глазом бесстыжим не моргнув. И, главное, вот сейчас давно прочел бы — что там по кругу было выбито. В те годы не мог, не понимал диковинных закорючек, а сейчас бы запросто прочел, ведь то наверняка был иврит?

Ну, Жу-у-ка, простонал он, как всегда (сценарий движется, сон катится под гору, вернее, мучительно вкатывается в гору), — я же сто раз прощения... я осознал... искал! Да что мы опять ссоримся, ей-богу: вот же он — стоит! Стоит — темный, массивный, давно не чищенный — так что и кораблик неразличим, — на серебряной своей юбочке...

И он тянет пудовую руку, с усилием, как воду, преодолевая толщу сна. Тянет руку, тянет... хватает наконец тяжелый кубок, вертит в пальцах, подносит к глазам. И плывет по трем легким волнам трехмачтовый галеон, и выются по серебряной юбочке угловатые — и такие понятные теперь — буквы: *«Поезд на Мюнхен отходит со второго перрона в 22.30»*.

И тогда лишь проснулся. Вроде проснулся таки. Господи, доколе... *Прости, Жука!*

Он долго стоял под жгучими плетками воды, потом резко переключил на холодную и с минуту, охая от удовольствия, растирался жесткой мочалкой, которую повсюду с собой возил.

Затем побрился, не торопясь, тихо насвистывая, чтобы не разбудить раньше времени удава там, на кровати... Славного полненького удава, чьи упругие кольца, так сладко пульсируя, сжимают... м-да. Все же не надо позволять ей полнеть и дальше.

Старательно выбривая выпяченный подбородок (в ежеутреннем бритье это главная мука — крутой, как твердое яблочко, подбородок с труднодоступной выемкой под нижней губой), он внимательно рассматривал себя в просторном зеркале ванной.

А ты слегка подсох, парень... Дядя Сёма сказал бы: *подобрался*. В молодости был скорее крепышом. Часто даже за боксера принимали. Сейчас утоньшился, согласно образу. Нос как-то... окостенел, что ли... Аристократ-с, твою мать.

Только ежик густых черных волос (фамильно устойчивый пигмент, небрежно отвечал он на комплименты) и такие же смоляные брови, прямые и почти сросшиеся над глубоко посаженными серыми глазами, были прежними. Да вот еще эти вертикальные черточки в углах рта, что всегда сообщали его лицу выражение детского дружелюбия, вечной готовности

растянуть губы в улыбке: я люблю тебя, мой огромный добрый мир... Да, это наш козырь. Может, это твой единственный козырь, а, парень?

Когда на цыпочках он вышел из ванной, чтобы достать из чемодана рубашку и костюм, выяснилось, что и Ирина проснулась — черт, как некстати эта ее жаворонковая природа! — и лежит в своем коконе, лохматая, в отвратительном настроении и полной боевой готовности.

— Трусливо сбегашь, — сказала она, внимательно и насмешливо наблюдая за тем, как он одевается.

— Ага, — он широко ей улыбнулся. — Ужасно трушу! Я вообще тебя очень боюсь и раболепно выслушиваюсь. Глянь-ка на эти запонки. Узнаешь? Обожаю их, всем демонстрирую: «подарок любимой женщины».

— Любимой женщины. Да их у тебя в каждом городе штук по сто.

— Сто?! Зачем же столько, о боже! «Кому это надо, и кто это выдержит», — говорил мой винницкий дядя Сёма...

— Какая ты сволочь, Кордовин! Мы же решили, что теперь всегда будем ездить вместе.

Вот это она зря. Гнусное коммунальное сочленение — «мы» ..*Пожизненное мычание, мыловарение мылолетной мылости любви...* Нехороший симптом. Неужели придется преобразовывать ее из любовницы в подругу? Жаль, с ней хорошо, с Ириной-то. По сути дела, с ней за эти три года сложилась идеальная жизнь, без всяких подлых «мы»... «нам»... *Нам, детка, строить и жить помогает* именно одинокая наша чуткость, волчья поджарость, трепетание крыльев носа в предчувствии взятого следа. Какое уж там «мы».

— Не заставляй опять штаны снимать, хозя-а-ай-

ка, — придурковато-жалобно затянул он, — за-а-дница стынет! Вишь, я уже в портупее.

И все же подошел к кровати, прилег — прямо в костюме — рядом с ней, заспанной, несчастной, нащупал и безжалостно вытащил из одеяльного свертка ее голую руку, принялся целовать, поднимаясь от пальцев и до плеча: подробно, дельно, по сантиметру, приговаривая что-то шутливо-докторское.

Его правилом было: никаких уменьшительных. Все только полными, звучными прекрасными именами. Женское имя священно, сокращать его — кощунство, сродни богохульству.

И она отмякла, рассмеялась от щекотки, прижала к уху голое плечо.

— Вкусно пахнешь: жасмин... зеленый чай... Это что за одеколон?

— «Лёкситан». В дьюти-фри всучили, в Бостоне. Там продавалка такая старательная попалась, на совесть работала. «Старинная фирма, старинная фирма... флаконы ручной работы». Купил, чтоб отстала. — Он сел на постели, мельком глянул на часы. — Послушай, радость моя, серьезно: не огорчайся. Ну, что за удовольствие торчать на университетской конференции с унылым названием «El Greco: un hombre que no se traiciono a si mismo»?

— Что это значит?

— Какая разница? Это значит «Эль Греко: человек, который не предал самого себя». Бессмысленная тема, очередная бессмысленная конференция. Толедо, в общем, урюмый город, да еще в дождливом апреле... Ей-богу, лучше здесь загорать. Тебе еще подкинуть бабла на эти ванны... ну, из водорослей? «Мадам на отдыхе, мадам имеет право».

Это была одна из их любимых фразочек, которых за три года накопилось немало: замечание продавца

дорогого магазина в Сорренто, где Ирина пыталась не позволить «ухнуть страшные деньги на сумочку».

Она рассмеялась и сказала:

— Ладно, проваливай. Когда у тебя самолет?

Он теперь уже открыто и озабоченно глянул на часы:

— О-о... бегу-бегу! А то не успеть.

Вскочил, подхватил куртку, чемодан, в дверях обернулся — чмокнуть воздух в направлении кровати. Но Ирина уже опять плотно упаковалась, лишь всклокоченная макушка торчит из одеяла. *Бедная ты моя, брошенная...*

Тихо притворил за собою дверь.

Спустившись по лестнице на один этаж, он остановился, прислушался к тишине еще спящего отеля: где-то внизу, у бассейна, гулко и безмятежно переговаривались уборщики, тяжело протаскивая по мокрому бетону удавы кольца резиновых шлангов. Привалившись спиной к двери, он открыл молнию на чемодане и вытянул две вещи: вязаную синюю перчатку на правую руку — странную, с прорезями для подушечек пальцев, — и свой безгрешный пока автоматический «глок».

Впрочем, зачем же так сразу... напрягаться. Он опустил пистолет в карман пиджака, натянул перчатку, шевеля пальцами, как пианист перед первым браурным пассажем, затем достал мобильник и набрал номер.

— Владимир Игоревич? Не разбудил?

В ответ благодарной волной покатилося:

— Захар Миронович, дорогой! Здравствуйте! Вот замечательно, что не подвели. А я с шести на ногах и места себе не нахожу. Так когда вам удобно? Я в четверта втором номере.

— Ну и отлично, — отозвался он. — Через минуту зайду.

И пистолет снова нырнул в зубастую щель чемоданной молнии: такую взволнованную почтительную благодарность, какая звучала в голосе клиента, сымитировать трудно. А у него был острейший, звериный слух и глаз на оттенки и интонацию.

И правда: надраенный до блеска Владимир Игоревич, трепеща брюхом, ждал его в отворенной двери апартамента. Интересно, какими заветными тропками пробирается он ежеутренней бритвой среди всех своих бородавок? И почему не отпустит бороду — или в негласном кодексе этих *новых крёзов* борода, как укрывательство, есть знак тайного умысла?

— Не через порог! — воскликнул толстяк, отступая и держа наготове ладонь лопаткой.

По некоторым окольным сведениям новоиспеченный коллекционер владеет какими-то заводами в Челябинске. Или приисками? И не в Челябинске, а на Чукотке? Бог его знает, не суть важно. Благослови архангел Гавриил всех, кто вкладывает деньги в кусок холста, промазанный казеиновым клеем и покрытый масляными красками.

Действительно, ждал и волновался: в отворенной двери спальни видна была по-солдатски аккуратно застеленная кровать.

Картина — холст, натянутый на подрамник, — ждала своего часа, повернутая лицом к спинке дивана.

Как все же трогательны эти любители-коллекционеры. Все они трепещут перед тем первым мигом, когда картину пронзают рентгеновские очи эксперта. Еще, бывает, накидывают на диван или кресло, куда водружают картину, белую простыню, дабы уберечь драгоценное зрение *знатока* от назойливого цветового окружения. Цветовая антисептика операционной

или детская игра *закрой покрепче глазки, откроешь, когда скажу!*

В таком случае, дорогой Владимир Игоревич, вы услышите сейчас небольшую лекцию о ничтожестве и эфемерности этого самого *знаточества*.

Он опустил чемодан на пол, бросил поверх него куртку.

— Ничего, что я левую протягиваю? — спросил, неловко пожимая (следовало бы извернуться и протянуть ладонь из-за спины) пухлую лапу коллекционера и улыбаясь одной из самых открытых своих улыбок. — Многолетний артрит, прошу меня извинить. От боли, бывает, вскрикиваю, как баба.

— Да что вы! — огорчился толстяк. — А вы пробовали «Золотой ус»? Моя жена очень хвалит.

— Чего только не пробовал, не будем об этом. Вы прямо вчера и приехали?

— Конечно! Как только вы сказали, что сегодня улетаете и что это — единственная возможность вас поймать, я немедленно заказал номер, и как тот тенор в опере — «чуть свет — у ваших ног!».

Где это он такую оперу слышал, интересно. Может, в своем Челябинске? Нет, милый, не дай тебе бог лежать у моих ног...

На журнальном столике стояла бутылка «Курвуазье» и две коньячные рюмки, но видно было, что бедняга уже изнемогает: ни сесть не предложил, ни выпить. Вот это страсть, я понимаю...

— Ну что ж, приступим, — сказал Кордовин. — У меня ведь и правда совсем мало времени.

— Только одно слово, — нервно потирая ладони, будто ввинчивая одну в другую, проговорил Владимир Игоревич. — Это необходимо... Вам, Захар Минович, приходится сталкиваться с самым разным людом — сейчас даже откровенное быдло знает, во что

вкладывать деньги. И я представляю вашу брезгливость к таким вынужденным знакомствам, как вот наше. Не возражайте, я знаю! Но, видите ли, Захар Миронович... коллекционерский возраст мой, действительно, младенческий — раньше не было возможности собирать искусство, откуда деньги у рядового советского инженера-изобретателя? Но любитель живописи я со стажем, с молодости. Помню, нагрянешь в Москву, в командировку на три дня, чемодан в гостиницу — а сам рысью в Пушкинский, в Третьяковку... Неловко признаться, сам маленько балуюсь красками... Ну и читал много чего. Вашу книгу «Судьбы русского искусства за рубежом» — тоже разыскал в Интернете, прочел. Был бы счастлив пригласить вас к себе.

— В Челябинск? — с любопытством спросил эксперт. Он с пристальным удовольствием наблюдал, как искренне клиент пытается отмежеваться от *быдла*.

— Зачем же в Челябинск, — усмехнулся Владимир Игоревич. — Свою коллекцию я предпочитаю держать здесь — у себя в Кейсарии. И если сегодня... если сам Кордовин даст положительное заключение об авторстве... Словом, если вы сейчас скажете свое «да», это будет мой третий Фальк. И самый отменный!

Он подскочил к дивану — при своей грузности толстяк не лишен был некоторой увалистой грации — и развернул картину лицом. И рядом стал, как в карауле: напряженный, с покрасневшей лысиной, переводя пытливо-умоляющий взгляд с холста на эксперта. Не забыл ли он сегодня принять таблетку от давления — вот в чем вопрос.

Опустившись в кресло, Кордовин неторопливо достал из нагрудного кармана пиджака очки, молча надел и стал разглядывать полотно — с расстояния.